

Пять эссе на темы этики

Автор:

Умберто Эко

Пять эссе на темы этики

Умберто Эко

В российской традиции нацизм зовется «фашизмом». Умберто Эко, культуролог, публицист и философ, не оспаривает терминологический разнобой. Наоборот, в ключевом эссе сборника он выделяет общие принципы для разных тоталитарных режимов и помогает заново осмыслить корни того, что называет «вечным фашизмом» в его исторических и, увы, современных проявлениях. Эта подборка эссе дает повод к размышлениям о ненависти, о войне, о религии – размышлениям, объединяющим тех, кому мир небезразличен, тех, кто сознает, что победа разума над регрессом никогда не окончательна и что внутренняя работа для каждого из нас всегда обязательна. Мораль ли, этика, совесть ли, нравственность, гражданственность – различие опять же только в терминах. Суть же одна: уроки истории полезны, лишь если люди не ленятся обдумывать их. А умственный труд бок о бок с Эко обычно не в тягость, бе седа с ним – и радость, и развлечение.

Умберто Эко

Пять эссе на темы этики

Публикуется по соглашению с литературным агентством ELKOST Intl.;

© RCS Libri S.p.A. – Milano Bompiani 1997-2010

© Е.Костюкович, перевод на русский язык, 1998

© А.Бондаренко, оформление, 2012

© ООО «Издательство Астрель», 2012

Издательство CORPUS ®

Предисловие

У собранных здесь эссе две общих характеристики. Во-первых, они создавались по случаю, для выступления на конференциях и заседаниях. Во-вторых, при всем разнообразии тематики все эссе носят этический характер, то есть говорят о том, что делать хорошо, что делать дурно и чего не следует делать ни при каких обстоятельствах.

Учитывая случайность появления этих текстов, думается, важно указать, для чего создавался каждый, без этого будет трудно их понять.

«Когда на сцену приходит Другой» – текст моего ответа кардиналу Карло Мария Мартини в эпистолярной серии из четырех писем, организованных и опубликованных журналом «Либерал». Потом эта переписка вышла отдельным изданием («Во что верит тот, кто не верит?», Рим, Атлантиде, 1996).

Публикуемый ниже текст был призван ответить на вопрос, обращенный ко мне кардиналом Мартини: «На чем основывается уверенность и императивность своего морального действия тот, кто не намерен, для обоснования абсолюта этики, опираться ни на метафизические принципы, ни на трансцендентальные ценности вообще, ни даже на категорические императивы, имеющие универсальный характер?» Для полного представления о дискуссии отсылаю читателя к указанному тому, включающему комментарии, послесловия и реплики Эмануэле Северино, Манлио Згаламбро, Эудженио Скальфари, Индро Монтанелли, Витторио Фоа и Клаудио Мартелли.

«Осмысляя войну» – опубликовано в газете «Ла ривиста деи либри», № 1 (апрель 1991), в дни войны в Персидском заливе.

«Вечный фашизм» – доклад (англоязычная версия) на симпозиуме, проводившемся итальянским и французским отделениями Колумбийского университета (Нью-Йорк) 25 апреля 1995 г., в юбилей освобождения Европы. Опубликовано под заглавием *Eternal Fascism* в «Нью-Йорк ревью оф букс» 22 июня 1995 г., затем в итальянском переводе в «Ла ривиста деи либри» за июль-август 1995-го под названием «Тоталитаризм fuzzy и ур-фашизм» (публикуемый ниже вариант отличается лишь незначительными стилистическими поправками). Но следует учитывать, что этот текст создавался для американских студентов и был прочитан на симпозиуме в дни, когда Америка была потрясена оклахомским терактом и открытием того, что, в общем, не являлось секретом, – что в США имеются правоэкстремистские военизированные организации. Тема антифашизма приобрела особые коннотации в этих обстоятельствах, и рассуждение исторического плана было призвано способствовать размышлениям о современной ситуации в разных точках земного шара. Выступление было переведено на многие языки и опубликовано во многих странах. Так как эссе рассчитывалось на американских студентов, понятно, почему в нем изобилуют факты и разъяснения почти школьного характера, а также к чему столько цитат из Рузвельта (Рузвельт – символ американского антифашизма) и почему я особо отмечаю встречу европейских и американских солдат в дни освобождения Европы.

«О прессе» – доклад на семинаре, проводившемся в верхней палате нашего парламента (Сенате) в период президентства Карло Сконьямильо. Участвовали сенаторы и главные редакторы наших крупных ежедневных изданий. Вслед за докладом имела место живая дискуссия. Текст публиковался, при поддержке того же Сената, в сборнике «Научные заседания в Палаццо Джустиниани. Пресса и политика сегодня» (Рим, типография Сената, 1995). В сборник вошли выступления Карло Сконьямильо, Эудженио Скальфари, Джулио Ансельми, Франческо Табладини, Сильвано Бороли, Вальтера Вельтрони, Сальваторе Карруба, Дарко Братина, Ливио Капуто и Паоло Миели.

«Миграции, терпимость и нестерпимое» – это коллаж. Первый отрывок – начальный пассаж моего вступительного слова 23 января 1997 г. на открытии конгресса, проводившегося в Валенсии на тему «Перспективы третьего тысячелетия». Вторая часть – это переведенное и переработанное вступительное слово на Международном форуме по толерантности, проводившемся в Париже Всемирной академией культуры 26—27 марта 1997 г. Третий кусок – статья в «Република» в дни опубликования приговора римского военного суда по делу Прибке.

1997 г.

Когда на сцену приходит Другой

Глубокоуважаемый господин кардинал, Ваше письмо выводит меня из сильного затруднения, но ставит в новое затруднение, тоже сильное. Пока что именно я (поневоле) выступал зачинщиком в беседе, а тот, кто начинает, неизбежно задает вопросы и ждет, пока собеседник ответит. Отсюда первая неловкость – быть в положении допрашивающего. В то же время я высоко ценю решительность и смирение, с которыми Вы трижды опровергаете теорию, по которой иезуиты отвечают на вопросы только встречными вопросами.

Второе же мое затруднение связано, напротив, именно с необходимостью ответить на вопрос, исходящий от Вас. Мой ответ был бы показателен, получи я в свое время светское воспитание. Я же испытывал сильнейшее влияние католицизма вплоть до возраста (обозначу момент перелома) двадцати двух лет. Внерелигиозное мировоззрение, таким образом, было мною не пассивно усвоено, а выстрадано в процессе длительного и медлительного преобразования, и до сей поры я не могу знать, насколько мои моральные взгляды определяются отпечатком той религиозности, которая была мне привита в начале жизни. В прожитые впоследствии годы мне приходилось присутствовать (в одном зарубежном католическом университете, куда приглашают, в частности, и профессоров, далеких от религии, ожидая от них не более чем формально-почтительного отношения к религиозным академическим ритуалам) при том, как мои коллеги подходят к таинству причастия без веры в Присущего и, разумеется, без предшествующей исповеди и отпущения грехов. С содроганием, невзирая на многолетнюю внерелигиозность, ощущал я ужас перед этим зрелищем святотатства.

Тем не менее полагаю, что способен определить, на каких основаниях зиждется сегодня моя «внерелигиозная религиозность», – ибо я твердо убежден, что религиозность существует в разных формах, и, следовательно, ощущение сакральности, тяга к «главным вопросам» и ожидание ответа на них, чувство единения с чем-то превосходящим человека свойственны и тем, кто не верует в личное и всерасполагающее божество. Но это, как явствует из Вашего письма, известно и Вам. Вы спрашиваете вот о чем: что есть обязывающего,

вовлекающего и неотразимого в их формах этики?

Хочется начать издалека. Некоторые этические проблемы стали для меня прозрачнее после того, как я продумал некоторые проблемы семантики – только не беспокойтесь из-за того, что говорят, будто выражаемся мы сложно; вероятно, те, кто говорит это, приучены думать чересчур просто по вине средств массовой информации с их «откровениями», по определению предсказуемыми. Пусть же привыкают мыслить более сложно, ибо не просты ни тайное, ни явное.

Суть лингвистической задачи сводилась к следующему: существуют ли «семантические универсалии», то есть элементарные понятия, общие для всего человеческого рода и находящие выражение на любом языке. Проблема эта не так уж легко разрешима, если учесть, что во многих культурах отсутствуют понятия, кажущиеся нам очевидными: скажем, понятие субстанции, наделенной качествами (например, в выражении «яблоко – красное»), или понятие идентичности ($a=a$). Однако в результате раздумий я заключил, что безусловно имеются понятия общие для всех культур и что все они относятся к положению нашего тела в пространстве.

Мы прямоходящие животные, поэтому нам затруднительно долго пребывать вниз головой и поэтому у всех нас общее представление о верхе и о низе, причем первое, как правило, предпочитается второму. Точно так же всем людям свойственно понятие о правом и левом, о покое или ходьбе, о стоянии или лежании, о ползании и прыгании, о бодрствовании и сне. Поскольку мы снабжены конечностями, всем нам известно, что такое ударять о прочный материал, вторгаться в мягкую или в жидкую среду, крошить, барабанить, колотить, пинать и даже, наверное, плясать. Этот список можно продолжать долго, в него войдут понятия, связанные с видением, слышанием, едой и питьем, заглатыванием и извержением. И безусловно, любому человеку присущи такие представления, как познание, память, желание, страх, грусть или облегчение, радость или печаль, а также представление о том, какими звуками отображаются все эти чувства. Далее (и тут мы уже вступаем в область права), всем знакомы универсальные концепции принуждения: всем нам нежелательно, когда препятствуют в процессах речи, зрения, слуха, сна, заглатывания либо извержения, не дают идти куда хочется; мы страдаем, если нас связывают или принуждают к изоляции, если нас избивают, ранят или убивают, подвергают пыткам физическим и психологическим, которые ограничивают или уничтожают способность соображать.

Учтите, что пока я выводил на сцену только некоего звероподобного и одинокого Адама, не ведающего, что есть сексуальное единение, радость диалога, любовь к детям, горе из-за утраты любимого человека; но даже и на этом этапе нам (если не ему/ей) эта семантика дает основания для этики; мы в первую очередь обязаны уважать права телесности другого существа, и, в частности, право говорить и право мыслить. Если бы все нам подобные уважали эти «телесные права», история не знала бы таких явлений, как избивание младенцев, скармливание христиан львам, Варфоломеевская ночь, сожжение еретиков, концлагеря, цензура, работа детей в шахте, массовые изнасилования в Боснии.

Но как, благодаря чему, даже обзаведясь инстинктивным набором универсальных представлений, это звероподобное, выведенное мною создание, сотканное из изумления и свирепости, сумеет дотумкать до идеи, что оно желает делать что-то и не желает, чтобы с ним что-то делали, и уж тем более что оно не должно делать другим то, чего не хочет, чтобы делали ему? Сумеет, благодаря тому, что, слава богу, Эдем стремительно заселяется. Этический подход начинается, когда на сцену приходит Другой. Любой закон, как моральный, так и юридический, всегда регулирует межличностные отношения, включая отношения с тем Другим, кто насаждает этот Закон.

Вы тоже приписываете добродетельному неверующему представление о том, что Другой присутствует внутри нас. Но я имею в виду не расплывчатые сантименты, а твердый фундамент бытия. Как свидетельствуют самые внерелигиозные из гуманитарных наук, Другой, взгляд Другого определяет и формирует нас. Мы (как не в состоянии существовать без питания и без сна) не способны осознать, кто мы такие, без взгляда и ответа Других. Даже тот, кто убивает, насилует, крадет, изуверствует, – занимается этим в исключительные минуты, а в остальное время жизни выпрашивает у себе подобных одобрение, любовь, уважение, похвалу. И даже от тех, кого унижает, он хочет получить признание – в форме страха или подчинения. При отсутствии признания со стороны других новорожденный, брошенный в джунглях, не очеловечивается (если только, подобно Тарзану, не начнет искать себе Другого, пусть даже в лице обезьяны). Можно умереть или ополоуметь, живя в обществе, в котором все и каждый систематически нас не замечают и ведут себя так, будто нас на свете нету.

Почему же тогда существуют (или существовали) культуры, санкционирующие массовое убийство, каннибализм, унижение тела Другого? Просто по той причине, что в них круг Других сужен до пределов племени (или этноса) и

«варвары» не воспринимаются как человеческие существа. Но и христианнейшие крестоносцы тоже не относились к неверным как к ближним, которых надо сердечно возлюбить. Дело в том, что признание роли других, необходимость уважать те же их потребности, которые мы считаем священными для себя, – результат тысячелетнего развития. Христианская заповедь любви тоже была провозглашена и со скрипом воспринята только тогда, когда времена созрели.

Но Вы спрашиваете так: хватает ли мне этого представления о чужой самооценности, чтобы обрести абсолютную опору, несокрушимый цоколь этического поведения? Достаточно было бы, если бы я ответил: но ведь и то, что Вы зовете «абсолютной опорой», не удержало многих верующих от прегрешений, при полном понимании, что они грешат. На этом можно было бы ответ и кончить; зло соблазнительно и для тех, кто обладает обоснованным и откровенным представлением о добре. Однако добавлю еще два случая из жизни, которые послужили мне поводом к длительному размышлению.

Во-первых, мне вспоминается разговор с одним писателем, который считал себя католиком, пусть даже *sui generis*[1 - В своем роде (лат.)], имя его я не привожу, так как цитирую частную беседу, а я по натуре не сикофант. Дело было в папство Иоанна XXIII; мой пожилой друг, бурно превознося добродетели понтифика, выразился так (с явной установкой на парадокс): «Папа Иоанн, конечно, атеист. Только не верующий в Бога может до такой степени любить себе подобных!» Как любые парадоксы, этот тоже содержал в себе кроху истины; не обсуждая атеистов (их психологическая картина для меня непонятна, с кантианской платформы я не представляю себе, как можно не верить в Бога и утверждать, что его существование не доказывается, и в то же время верить в несуществование Бога и утверждать, что оно-то доказуемо), я полагаю, что личности, никогда не переживавшие опыт трансценденции либо утратившие эту способность, могут придавать смысл своей жизни и своей смерти, могут успокаиваться одной любовью к другим и стремлением обеспечить для этих других жизнеподобную жизнь – в частности, и после того, как их самих уже не станет. Есть, разумеется, на свете и такие, кто не верует и все равно не заботится о придании смысла собственной смерти. Но есть и те, кто говорит, что верует, и при этом готов вырезать сердце у живого ребенка, только бы самому не умереть. О силе этики судят по поведению святых, а не тех неразумцев, *cujus deus venter est*. [2 - Чей Бог – утроба (лат.).]

Перехожу ко второму анекдоту. Я был тогда шестнадцатилетним членом организации Молодых католиков и ввязался в словесную дуэль со старшим товарищем, известным как «коммунист» (в значении, которое имел этот термин в кошмарные пятидесятые годы). Он меня раззадорил, и я выступил с решительным вопросом: какой смысл он, не веруя, находит в неизбежности смерти? Он ответил: «Я оставлю указание похоронить меня по гражданскому обряду. Я уже не смогу действовать, но покажу пример другим». Думаю, что и Вы тоже восхититесь его глубочайшей верой в преемственность бытия и абсолютным чувством долга, одушевляющим его ответ. Это то самое чувство, которое побуждало многих неверующих принимать гибель под пытками, лишь бы не предать товарищей, или заражаться чумой, лишь бы лечить зачумленных. Это же – то единственное чувство, которое побуждает философа философствовать, писателя писать: оставить послание в бутылке, чтобы то, во что мы верили или что казалось нам прекрасным, показалось достойным веры или любования и тем, кто придет после нас.

Достаточно ли крепко это чувство, чтобы выкристаллизовать не менее кристальную и негибкую, столь же твердокаменно-неуязвимую этику, какая имеется у тех, кто верует в мораль откровения, в посмертную жизнь души, в загробные премии и штрафы? Я постарался обосновать принципы внерелигиозной этики на чисто природном явлении (а для Вас это явление в качестве составляющей части природы есть детище Божественного промысла), какова наша телесность, и на убеждении, что инстинктивно всякий предполагает, что его душа (или нечто, выполняющее ее функцию) проявляется только благодаря соседству с окружающими. Из этого вытекает, что то, что я определил как «внерелигиозная этика», по сути – этичность природы, а от нее не станет отрешиваться даже и верующий человек. Природный инстинкт, дозревший до степени самоосознания, – разве это не опора, не удовлетворительная гарантия? Конечно, возможно возражение: достаточно ли этот инстинкт побуждает человека к добродетельности, «все равно же, – может сказать неверующий, – если я тайно содею зло, никто не догадается». Но учтите, пожалуйста, что неверующие, думая, что с Небес за ними никто не наблюдает, именно потому и убеждены, что никто с тех же Небес и не извинит их за безобразия. Если неверующий понимает, что сотворил зло, его одиночество беспредельно, его смерть безнадежна. Скорее всего, он постарается больше, чем верующий, искупить черноту содеянного публичным покаянием; он попросит помилования у окружающих. Это неверующий знает заранее, это он чувствует всеми фибрами души и понимает, что должен поэтому априори быть милостив к остальным. Не будь так, откуда бралось бы угрызение – чувство, столь свойственное неверующим?

Конец ознакомительного фрагмента.

notes

Примечания

1

В своем роде (лат.).

2

Чей Бог – утроба (лат.).

Купить: <https://tellnovel.com/ru/umberto-eko/pyat-esse-na-temy-etiki>

Текст предоставлен ООО «ИТ»

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: [Купить](#)